

РУКА-ПРИЗРАК

Посещают ли тени умерших наш материальный мир?

Даже скептический и несклонный к сентиментальности д-р Джонсон¹ полагает, что утверждать обратное — значит оспаривать многочисленные свидетельства, ведь во все времена самые разные народы — как варварские, так и цивилизованные — независимо друг от друга постоянно сообщали о призраках и верили в них. «Разве что придиры подвергают это сомнению, — добавляет он, — но едва ли они способны умалить значение общепризнанных фактов, тем более что отрицающие на словах появление призраков нередко подтверждают его своими страхами на деле».

В августе прошлого года, путешествуя по Северной Европе в обществе троих друзей, я оказался в «Отель де Скандинави» в самом центре Христиании². Не прошло и двух дней, как мы досыта насмотрелись на достопримечательности небольшой норвежской столицы: посетили королевский дворец, величественное белое здание, охраняемое сутулыми норвежскими стрелками в долгополых мундирах и шляпах с широкими полями и зеле-

¹ Имеется в виду Самюэль Джонсон (1709–1784) — знаменитый английский писатель, публицист, литературный критик и филолог, автор первого толкового словаря английского языка в двух томах. — *Здесь и далее примечания Павла Гелевы.*

² *Христиания* — старое название города Осло, столицы Норвегии.

ным плюмажем; огромное кирпичное здание Стортинга¹, где повсюду натыкаешься на красного льва, начиная с королевского трона и кончая угольным ведерком в привратничкой; наконец, замок Агтеруис и его скромную оружейную, состоящую из одного одинокого рыцарского доспеха да длинных мушкетов шотландцев, павших в битве при Ромсдале. После этого уже и смотреть не на что; и когда в десять часов вечера маленькие Тивольские сады закрываются, вся Христиания погружается в сон до рассвета.

Должно заметить, английские экипажи совершенно бесполезны в Норвегии; мы заказали себе к отъезду четыре местные одноколки, так как были полны решимости отправиться в дикий горный район, именуемый Доврефельдом. Однако задержка с прибытием важных писем вынудила меня остаться в Христиании еще на пару дней; друзья уехали, обещав дожидаться меня в Роднэсе, что расположен поблизости от величественного Ранс-фьорда. Если бы не эта задержка и связанная с нею необходимость путешествовать в одиночестве по совершенно незнакомым местам при моем плохом знании языка, я бы не узнал истории, которую и собираюсь теперь поведать.

В роскошных гостиницах Христиании обед заканчивается к двум часам пополудни, поэтому лишь к четырем часам вечера мне удалось выехать из города, улицы и архитектура которого сильно напоминали лондонскую Тотенгэм-Корт-роуд, сдобренную старым Честером. В моей одноколке — весьма, надо сказать, комфортабельной — разместились также мой чемодан и футляр с ружьем; все это вместе с моей персоной и самим средством передвижения было покрыто огромным брезентом, какой поставляет в стэндгейтский магазин английская кабриолетная компания.

Едва я оставил позади город красных черепиц и медных шпилей, позеленевших от времени, зарядил силь-

¹ *Стортинг* — название норвежского парламента.

ный дождь, весьма обыкновенный для Норвегии. Но он не помешал мне восхищаться удивительной красотой пейзажа. Низкорослая выносливая лошадка неспешной рысью везла мой легкий экипаж по неровной горной дороге; по сторонам тянулся дремучий лес, состоящий из темных, торжественных сосен, среди которых порой мелькали островки стройных белых берез. Зелень деревьев ярко контрастировала с голубизной узких фьордов, то тут, то там открывавшихся по обеим сторонам дороги, а также с ярким цветом, казалось, игрушечных деревенских домиков с белоснежными бревенчатыми стенами и огненно-красными крышами, покрытыми дранкой. Даже у некоторых деревенских шпилей был такой же кровавый оттенок, являющий собой как бы характеристическую черту норвежского пейзажа.

Дождь припустил, сделавшись совершенно невыносимым; казалось, день превратился в сумрачный вечер, а вечер в свою очередь раньше обычного сменился ночью; плотные массы тумана скатывались по крутым бокам лесистых холмов; поверх тумана повсюду, насколько хватал глаз, возвышались мрачные ели, из-за чего пространство, открывавшееся до самого горизонта, походило на море конусообразных вершин. Дома попадались все реже; не встретилось ни одного прохожего. Путеводителем мне была всего лишь карманная карта в моем «Джоне Мюррее». Сверившись с нею, я вскоре убедился в том, что еду не в сторону Роднэса, а плутаю где-то на берегах Тири-фьорда, заехав по меньшей мере на три норвежские мили (т. е. на 21 английскую) в противоположную сторону. Лошадка моя притомилась, дождь по-прежнему лил стеной, близилась ночь, и со всех сторон меня обступали величественные громады гор. Дорога пошла по глубокому ущелью, около места, носившего — как я потом узнал — название Кроклевен. Миновав его, я очутился в почти круглой долине, посреди холмов.

Из-за крутизны дороги и изношенности упряжи моего наемного экипажа постромки разошлись, и я ока-

зался — с бесполезными теперь лошадей и кабриолетом — вдали от какого бы то ни было жилища, где я смог бы починить свою одноколку или найти приют; дождь лил не утихая, вокруг меня высились дремучие непроходимые леса норвежских сосен, и необычайная мрачность ночи делала их тени еще чернее.

Невозмутимо оставаться в экипаже для человека со столь беспокойным, как у меня, нравом было решением неприемлемым. Я оттащил одноколку с дороги, накрыл брезентом свой скромный багаж и ружье, привязал поблизости пони и — оковеневший, злой и усталый — поплелся искать подмогу; хотя я был вооружен всего лишь норвежским ножом, воров или чьего-либо нападения я не опасался.

Я продолжал так идти по дороге, дождь хлестал в лицо и слепил глаза. Единственной моей защитой были теперь шотландский плед и дождевик; вскоре я различил ограду и небольшую дорожку, что явно указывало на близость жилья. Пройдя еще ярдов триста, я увидел, что лес поредел, впереди замелькал свет. Он горел, как я понял, в нижнем окне небольшого двухэтажного деревянного особняка. Створки окна оказались не только не запертыми, но даже распахнутыми, как будто приглашали войти. Зная гостеприимство норвежцев, я не стал утруждать себя поисками входной двери и шагнул в дом прямо через низкий подоконник. В комнате никого не оказалось. Я огляделся, ища глазами звонок, но затем вспомнил, что у норвежцев нет каминов и звонок обычно помещается за дверью.

Крашенный коричневый пол, разумеется, ничем не был устлан; в углу на каменной подставке, подобно черной железной колонне, высилась продолговатая немецкая печка; дверь, ведущая, по-видимому, в другие комнаты, была двустворчатая, с поворачивающейся ручкой, столь распространенной в деревенских домах. Мебель из простой норвежской сосны была прекрасно отполирована; единственную роскошь составляли две олени

шкур: одна — постеленная прямо на полу, другая — накинута на мягкое кресло. На столе лежали номера «Иллюстрет тидене», «Афтонблат» и других утренних газет, а также пенковая трубка с кisetом. Все указывало на то, что комнату покинули совсем недавно.

Едва я успел осмотреться, в комнату вошел высокий худой мужчина благородной наружности. Одет он был в грубый костюм из твида и ярко-красную рубашку с расстегнутым воротом — наряд простой и непринужденный, каковой он, казалось, носил с врожденным изяществом, а надо сказать, не каждому дано в таком облачении сохранить облик, исполненный достоинства. Остановившись в нерешительности, хозяин удивленно и выжидательно воззрился на меня, в то время как я извинился по-немецки и начал объяснять причину своего вторжения.

— Taler de Dansk-Norsk?¹ — отрывисто спросил он.

— Я не могу бегло говорить ни на том ни на другом, но...

— Что ж, добро пожаловать, постараюсь сделать все, чтобы вы продолжили путешествие. А пока не угодно ли коньяку? Я старый солдат, и мне известны прелести хорошего стола и индийского табака в промокшем бивуаке. К вашим услугам также и трубка.

Я поблагодарил его и, пока он отдавал слугам распоряжение сходить за лошадью и одноколкой, внимательно разглядывал его, так как что-то в его голосе и облике вызвало во мне некие смутные воспоминания.

Он был весьма красив собой, в чертах лица его проглядывало что-то орлиное, но вместе с тем в них запечатлелись следы глубокой меланхолии, скрытой, неизбывной печали, какая исходит от разбитого сердца. Лицо было бледное, изможденное, волосы и усы очень густые, но поседевшие добела, хотя ему, судя по всему, едва минуло сорок. Голубизна глаз была лишена мягко-

¹ Вы говорите по-датски или по-норвежски? (норв.)

сти, свойственной этому тону, отчего взгляд делался пронизательным и грустным, по временам же он становился тревожным, и тогда в нем читались то страх, то боль, то безумие, а быть может, и все смешение этих чувств. Столь неприятное выражение в значительной мере сводило на нет правильность черт, благодаря которой лицо бесспорно выглядело бы привлекательным. Но когда я сбросил свое промокшее одеяние, лицо хозяина словно озарилось изнутри, и он воскликнул:

— Да ведь вы говорите по-датски, и по-английски тоже, я знаю! Неужели вы совсем забыли меня, герр капитан? — добавил он, сжав мне руку в дружеском порыве. — Неужели вы не помните Карла Гольберга из датской гвардии?

Голос был тем же, что и у моего давнего знакомца — молодого датского офицера, жизнерадостного и общительного, чей неумный нрав и удаль снискали ему репутацию сорвиголовы и повесы. Он имел обыкновение устраивать ужины в Клампенбургских садах, с одинаковой щедростью угощая шампанским как первых дам двора, так и театральные танцовщиц. Многие прекрасные датчанки отдали ему свое сердце, и, как рассказывали, он имел дерзость флиртовать даже с наследной принцессой, находясь в карауле в Амалиенбургском дворце. Но как я мог соотнести с ним этого преждевременно состарившегося человека?

— Я прекрасно помню вас, Карл, — ответил я, пока мы обменивались рукопожатиями, — хотя много времени прошло со дня нашей последней встречи. Прошу прощения, я даже не мог поручиться, живы ли вы или уже на том свете.

Странное выражение, которое я не берусь определить, появилось на лице его, когда он тихо и печально произнес:

— Бывают минуты, когда я и сам не знаю, жив ли я или уже на том свете. Прошло двадцать лет с той счастливой поры, когда мы были вместе, двадцать лет, как

я был ранен в битве при Идштедте¹, — а кажется, будто прошло двадцать веков.

— Старина, ты даже не представляешь себе, как я рад тебя видеть.

— Да... ты и впрямь можешь теперь называть меня стариной, — промолвил он с грустной и усталой улыбкой, проводя дрожащей рукой по поседевшим волосам, некогда бывшим, как я помню, темно-каштановыми.

Церемонную сдержанность как рукой сняло, мы живо припомнили наши бесчисленные шалости и забавы, в основном периода Гольштейнской кампании, в Копенгагене, в этом самом веселом и восхитительном из всех северных городов. Под влиянием воспоминаний изнуренное лицо Карла прояснилось и на нем постепенно проступило прежнее беззаботное выражение.

— Ты здесь рыбачишь или охотишься? — спросил я.

— Ни то ни другое. Тут мое постоянное пристанище.

— В таком уединенном сельском уголке? Э, да ты небось наконец женился, живешь себе в любовном домашнем гнездышке... Постой-ка, я что-то не вижу твоей...

— Тише, ради бога! Ты понятия не имеешь, *кто* слышит нас, — прервал он меня, и ужас исказил его лицо. Тут он отдернул руку, дотоле покоившуюся на столе; движение было резким, нервным, будто ее коснулось раскаленное железо. Все это показалось мне странным.

— Но почему? — удивился я. — Разве нельзя спросить у старого друга о его...

— Навряд ли стоит говорить об этом, уж во всяком случае я бы не хотел, — невнятно пробормотал он. Затем, подкрепившись немалой порцией коньяка и пенящейся сельтерской, добавил: — Ты ведь знаешь, что

¹ Имеется в виду один из эпизодов австро-датско-прусской войны 1864 г.

моя помолвка с кузиной Марией-Луизой Виборг была расторгнута, хотя это была прелестная женщина. Она, возможно, осталась такою же красавицей и донныне — думаю, что и двадцать лет не могли уничтожить очарование и выразительность ее прекрасного лица, но ты, похоже, никогда и не знал, почему это случилось.

— Я думаю, ты скверно обошелся с нею. Это и в самом деле было безумием с твоей стороны.

Судорога пробежала по его лицу. Он снова отдернул руку, словно его ужалила оса или коснулось нечто незримое:

— Она была очень горда, надменна и ревнива, — промолвил он.

— Вполне естественно: она негодовала, что ты открыто носил кольцо с опалом, которое тебе бросила из дворцового окна принцесса...

— Кольцо, кольцо! Ах, прошу тебя, не говори мне о нем! — произнес он замогильным голосом. — Это было безумием, говоришь ты? Да, я и в самом деле был безумен, потому что испытал, да и теперь испытываю то, что разбило бы сердце любого датского удальца! Ну да ты сейчас все узнаешь, если только мне удастся связно и без помех рассказать о причине, заставившей меня спешно покинуть большой свет, отгородиться от мира и на все эти двадцать несчастных лет похоронить себя здесь, в этом горном безлюдье, где леса нависают над фьордом и где мне не улыбнется ни одно женское лицо!

Так, после продолжительного размышления и нескольких произвольно вырвавшихся вздохов, после моих настоятельных просьб и некоторых колебаний Карл Гольберг наконец поведал мне историю, столь невероятную и единственную в своем роде, что, если б не его печальная серьезность или чрезвычайная торжественность повествования и вместе с тем исходившая из него глубокая убежденность, я счел бы, что друг мой полностью лишился рассудка.

— Как ты помнишь, мы с Марией-Луизой должны были пожениться. Я надеялся, что этот брак исцелит меня от шалостей и мотовства. Уже был назначен день свадьбы, тебе предстояло быть шафером, и ты успел выбрать драгоценности для невесты в Конгенс-Ниторре, но в Шлезвиг-Гольштейне началась война, и мой гвардейский батальон был спешно переброшен на фронт, куда я отправился, скажу откровенно, не особенно сожалея о разлуке с невестой; по правде сказать, мы оба были не очень-то рады этой помолвке и совершенно не подходили друг другу. У нас и секунды не обходилось без колкостей, холодности, даже ссор, как ни старались мы придать своим лицам скучающее выражение.

Я был с генералом Крогом, когда произошло решающее сражение при Идштедте между нашими войсками и немецкими войсками гольштейнцев под командованием генерала Виллинсена. Мой гвардейский батальон сняли с правого фланга, приказав двинуться от Сальбро в тыл гольштейнцам, в то время как главные силы противника предполагалось атаковать и смять в центре, разметав в штыковой атаке его батареи. Вся эта операция была проведена отлично. Но я, командир роты, получил приказ: рассыпаться цепью и атаковать противника, расположившегося в зарослях кустарника, на невысоком холме, увенчанном руинами величественного здания — старинного монастыря с уединенным кладбищем.

Только мы собрались открыть огонь, как мимо нас вдруг двинулась похоронная процессия. Хоронили, судя по всему, знатную даму, и я приказал своим людям поосторониться, чтобы освободить путь открытому катафалку, на котором стоял гроб, усыпанный белыми цветами и серебряными венками. Позади следовали служанки, закутанные по обычаю в черные плащи; они несли венки белых цветов и бессмертника, с тем чтобы возложить их на могилу. Я желал только, чтобы скорбящие прибавили шагу, иначе им грозило оказаться под пушечным

и мушкетным огнем, который буквально в шестистах ярдах отсюда открыли по боевым порядкам гольштейнцев мои товарищи, а надо заметить, противник наступал с превеликим воодушевлением. Мы вели бой более часа в долгих прозрачных июльских сумерках и постепенно, хотя со значительными потерями, вытесняли противника из зарослей и с холма, где находятся развалины. Вдруг осколочная пуля просвистела через отверстие в рассыпавшейся стене и ударила меня сзади в голову чуть ниже кивера. Мне почудилось, будто вспыхнули тысячи звезд, затем все померкло. Я зашатался и упал, полагая, что смертельно ранен; слова, обращенные к Богу, замерли на моих губах; стих грохот кровавой и далекой битвы, я потерял сознание.

Как долго я пролежал без чувств, мне неизвестно, но, когда сознание ко мне вернулось, я увидел, что лежу в красивой, хотя и довольно старомодной комнате, украшенной гобеленом и богатой драпировкой. Комнату освещал приглушенный свет, проникавший непонятно откуда. На буфете лежали моя сабля и коричневый кивер датского гвардейца. Ясно, что меня перенесли с поля боя, но когда и куда? Я был распростерт на мягком диване или кушетке, мундир мой расстегнут. Кто-то заботливо поддерживал мне голову — оказалось, женщина, одетая, как невеста, в белое, да такая юная и прелестная, что тщетно и пытаться описать ее.

Она казалась красавицей, сошедшей со сказочного полотна, какие иногда случается видеть, потому что... она была божественна, истинно так, как вдохновенная мечта или счастливейший из замыслов живописца. Глубокий вздох восхищения, восторга и боли исторгся из моей груди. Красота ее была утонченной. Нежная, бледная, стройная, обворожительно округлые формы, руки — само изящество и великолепные золотистые волосы, пышно вьющиеся вокруг лба и ниспадающие с плеч; и в шелковистом обрамлении локонов, будто из гнездышка, выглядывает прелестное личико. Никогда

не забыть мне ее лица! Да мне и не дано забыть его, пока я жив, — добавил он, при этом черты Карла странным образом исказились, выражая скорее ужас, нежели восторг. — Она стоит передо мной во сне и наяву, ее лицо запечатлелось и в сердце у меня, и в уме!

Я силился подняться, но девушка заботливым движением успокаивала или удерживала меня, словно мать свое дитя, глаза же ее, живые и лучистые, нежно улыбались мне; да, в них было, пожалуй, более нежности, чем любви. Во всем же облике ее чувствовались достоинство и уверенность в себе.

— Где я? — был мой первый вопрос.

— Со мной, — наивно ответила она, — разве этого недостаточно?

Я поцеловал ей руку и сказал:

— Помню, что пуля будто ранила меня на кладбище на Сальбро-роуд — вот странно!

— Почему странно?

— Потому что, когда меня одолевают раздумья, я люблю бродить среди могил.

— Среди могил? Но почему? — изумилась она.

— Они выглядят так мирно и покойно.

Рассмешила ли ее моя необычная мрачность, но некий странный огонек заискрился в ее глазах, заиграл на губах и прелестном лице. Я снова поцеловал ей руки, и она не отняла их. Обожание и восхищение заполняли мое сердце и взор, губы невнятно пытались выразить переполнявшие меня чувства: необыкновенная красота девушки смущала и опьяняла; возможно, смелости мне придавали мои прежние победы. Она захотела освободить руку, промолвив с укоризною:

— Не смотрите на меня так! Я знаю, как легко вы завоевали любовь одной особы.

— Моей кузины Марии-Луизы? О, что с того! Я никогда, никогда, клянусь вам, не любил до сей минуты! — И, сняв кольцо с ее пальчика, я надел вместо него свой прекрасный опал.

— И вы любите меня? — прошептала она.

— Да, тысячу раз да!

— Но вы — солдат. Вы ранены! Боже! А если вдруг вы умрете прежде, чем мы встретимся вновь?

— А если вдруг эта участь постигнет вас? — со смехом возразил я.

— Что смерть!.. Я уже мертва для этого мира, полюбив вас; но живые или умершие, души наши соединились и...

— Ни небесные, ни адские силы не разлучат нас во веки веков! — воскликнул я, охваченный внезапной страстью, правда сознавая, что это звучит немного театралью. Порывистая, страстная, точно не ведающая уныния — как не походила она на Марию-Луизу! Я смело обнял ее, и чудесные глаза девушки озарились тончайшим светом любви, хотя в ее прикосновении и всего более в поцелуе таилось нечто необычное, месмерическое.

— Карл! О Карл! — вздохнула она.

— Как? Ты знаешь мое имя?.. А как будет твое?

— Тира. Но не спрашивай меня боле ни о чем.

Мое тогдашнее состояние можно выразить тремя словами: растерянность, опьяненность, безумие. Я осыпал поцелуями ее прекрасные очи, шелковистые локоны, губы, искавшие мои; но радость, как и боль от раны, сломила меня. Тщетно сопротивлялся я растущему дремотному оцепенению: сон все же одолел меня. Я помню, как сжимал ее твердую маленькую ручку, силясь удержаться и не впасть в забытие, а потом — ничего! — провал, пустота...

Когда я вновь пришел в себя, то оказался в одиночестве. Уже рассвело, но солнце еще не встало. Рядом высились заросли, в которых накануне кипел бой, — темные цвета индиго на фоне янтарной зари; и меркнущая луна еще серебрила заводи и затоны у берегов озера Лангсе, где лежали восемь тысяч окоченевших тел — столько погибло людей во вчерашнем бою. Мокрый от росы и крови, я приподнялся на локте и огляделся. Не-

приятное изумление овладело мною, и тоска пронзила мне сердце. Я *вновь* очутился на кладбище, на том самом месте, где был сражен пулей; маленький серый филин моргал большими глазами в углублении обвалившейся стены. Была ли драпировка комнаты всего лишь этим шелестящим плющом? Ведь там, где стоял освещенный буфет, я увидел теперь лишь старый квадратный могильный камень; на нем лежали моя сабля и кивер!

Последние лучи блекнувшей луны пробирались сквозь развалины к свежей могиле — воображаемому дивану, — на которой я бесцеремонно разлежся. Могила была вся усыпана вчерашними цветами, в изголовье стоял временный крест, увешанный белыми гирляндами и венками бессмертника. Но на руке моей все же оказалось кольцо. *Другое*. А где же она, давшая его? О, что же это было — наваждение или помешательство?

Некоторое время я был совершенно ослеплен яркостью своего недавнего сна, поскольку счел все случившееся именно сном. Но как в таком случае у меня на пальце могло очутиться это удивительное кольцо с квадратным изумрудом? И где же тогда было мое? Сбитый с толку этими размышлениями, охваченный изумлением и сожалением из-за того, что красавица оказалась всего лишь плодом моего воображения, я пробирался сквозь призрачные дебри поля битвы; голова кружилась, меня била лихорадка, мучила жажда, но наконец, пройдя длинную липовую аллею, я набрел на величественный кирпичный особняк, который, как я узнал позднее, принадлежал графу Идштедскому, чьим гостеприимством — он благоволил к гольштейнцам — я отнюдь не собирался злоупотреблять.

Тем не менее он принял меня учтиво и радушно. Я застал его в глубокой скорби. Когда же он случайно узнал, что именно я тот офицер, который накануне остановил стрельбу перед похоронной процессией, он от всей души поблагодарил меня, со вздохом пояснив, что то были похороны его единственной и обожаемой дочери.

— Полжизни я потерял с нею! Она была так мила, герр капитан, так нежна и до необычайности красива, моя бедная Тира!

— *Кто*, простите, вы сказали? — воскликнул я не своим голосом, чуть не вскочив с софы, на которой устроился с тоскою в сердце и дурнотою от потери крови.

— Тира, моя дочь, герр капитан, — ответил граф, слишком погруженный в свое горе, чтобы заметить замешательство, охватившее меня, когда он произнес это чудное старинное датское имя из моей грезы. — Взгляните, какое дитя я потерял! — добавил он, отодвигая занавес, скрывавший портрет в полный рост, и я, к своему возрастающему изумлению и бесконечному ужасу, узрел облаченную в белое, как и в моем видении, прелестную девушку с густыми золотистыми волосами, прекрасными очами и обворожительной, даже на полотне, улыбкой, озарявшей ее лицо. Я застыл на месте.

— И это кольцо, герр граф... — еле выдавил я из себя.

Он выпустил занавес из рук, и ужасный гнев охватил его, когда он чуть ли не сорвал драгоценность с своего пальца.

— Кольцо моей дочери! — воскликнул он. — Оно было похоронено вместе с нею вчера. Ее могилу осквернили! Осквернила ваша презренная солдатня!

Пока он говорил, мой взор заволокло туманом; голова у меня пошла кругом, и вдруг потом — нежная ручка из моего сновидения прошлой ночи с опаловым кольцом на среднем пальце — незримо! я лишь ощутил ее! — появилась на моей ладони. Мало того, поцелуй трепетных, но таких же незримых губ запечатлелся на моих устах, и в следующее мгновение я упал без чувств! Конец моей истории можно рассказать коротко.

С военной службой мне пришлось распрощаться, так как со столь расшатанной нервной системой нечего было и думать о продолжении военной карьеры. Возвра-

щаясь домой, где меня ждала женитьба на Марии-Луизе, союз с которой был мне теперь попросту отвратителен, я все размышлял над необыкновенным попранием законов природы, случившимся в моем приключении или, быть может, сумасшествии, поразившем меня.

В тот день и миг, когда я предстал перед своей нареченной невестой и приблизился, чтобы поприветствовать ее, я ощутил руку — ту же самую руку, лежащую на моей. Я вздрогнул и с трепетом огляделся, но ничего не увидел. Пожатие было крепким. Свободной рукой я провел по незримой руке, держащей мою, и почувствовал тонкие пальцы и тонкое запястье; однако я по-прежнему ничего не видел, а Мария-Луиза пристально наблюдала за моими судорожными движениями, за моей бледностью, душевными колебаниями и ужасом со спокойным и холодным негодованием.

Я уже было собрался все объяснить, сказать сам не знаю что, как вдруг поцелуй незримых губ сковал мне уста, и я с воплем бросился вон.

Все посчитали меня сумасшедшим и с сочувствием говорили о моей раненой голове, а когда я гулял по улицам, люди с любопытством смотрели на меня как на человека, над которым довлеет злой рок и с кем должно произойти что-то ужасное. И я зачах от своих мрачных мыслей и стал подобен тени.

Мое повествование может показаться невероятным, однако незримая, но осязаемая спутница неотступно следует за мной, и если почему-либо, например радуясь нашей с тобой неожиданной встрече, я на минуту забуду о ней, мягкое, нежное прикосновение женской руки напоминает мне о прошедшем и не дает покоя, ибо демон-хранитель, если можно так его назвать, хотя и прекрасный, как ангел, правит моею судьбою.

В жизни моей нет теперь места удовольствиям, ее заполняют лишь страхи. Печаль, сомнение и вечный ужас заставили меня утратить вкус к жизни, ибо в сердце моем всегда живет дикий и непрестанный страх перед

тем, что может произойти в следующее мгновение, а когда призрачные прикосновения возобновляются, душа словно умирает во мне.

Теперь ты знаешь, что преследует меня. Помоги мне, Боже! Ты скажешь, что не понимаешь этого. Да ведь я понимаю еще меньше твоего! Во всех пустых и нелепых рассказах о привидениях — некогда эти истории увлекали и забавляли меня, потому как я усматривал в них лишь плод невежества и предрассудка, — так называемые сверхъестественные посетители были различимы глазом или же слышны человеческим ухом. Но призрак, или злой дух, незримое Нечто, сопровождающее Карла Гольберга, воспринимается только через прикосновение. Существо этого призрака не зрительное, но именно осязательное!

Дойдя до этого места своего повествования, он вздрогнул, мертвенно побледнел и, водя дрожащими пальцами правой руки по левой, промолвил:

— Она здесь... сейчас... несмотря на твое присутствие. Я чувствую ее руку на своей, пожатие крепкое и нежное, и она никогда не оставит меня в покое, пока я жив!

И затем этот некогда веселый, сильный, галантный мужчина, а ныне лишь жалкое подобие самого себя — как телом, так и духом — уронил голову на колени и зарыдал.

Спустя четыре месяца, охотясь вместе с друзьями на медведей в Гаммерфесте, я прочел в норвежской «Афтенпостен», что Карл Гольберг застрелился в постели в канун Рождества.

ТОПОР С ПОСЕРЕБРЕННОЙ РУКОЯТЬЮ

(Действительное происшествие)

3 декабря 1881 года д-р Отто фон Гопштейн, профессор сравнительной анатомии Будапештского университета и попечитель академического музея, был самым подлым образом зверски убит прямо у входа в здание университета.

Мало того что жертвой подобной жестокости оказался человек видный и весьма популярный среди студентов и горожан, но имелись в деле еще и особые обстоятельства, способствовавшие тому, что данный случай привлек живейшее внимание публики и заставил говорить о себе всю Австро-Венгрию.

Газета «Пештер Абендблатт» опубликовала на следующее утро статью, с которой могут ознакомиться любопытные. Я приведу из нее лишь несколько отрывков, имеющих отношение к некоторым обстоятельствам данного преступления, каковые поставили в тупик венгерскую полицию.

«Насколько можно судить, — сказано в этой замечательной газете, — профессор фон Гопштейн покинул здание университета около половины пятого пополудни, чтобы успеть на вокзал к прибытию венского поезда в 17.05. Профессора сопровождал приват-доцент химии г-н Вильгельм Шлезингер, его давнишний и преданный друг и главный помощник в заботах о музее. Цель, которою задались оба господина, направляясь встречать названный поезд, состояла в том, чтобы принять коллекцию, переданную в дар Будапештскому универ-

ситету после смерти ее владельца графа фон Шуллинга. Как известно, этот несчастный дворянин, трагическая гибель которого еще у всех на устах, завещал уже знаменитому музею в своей alma mater непревзойденную коллекцию средневекового оружия, владельцем коей он являлся, а также несколько поистине бесценных инкунабул¹.

Достопочтенный профессор слишком дорожил подобными реликвиями, чтобы доверить их получение и доставку кому-нибудь из подчиненных. Таким образом, с помощью г-на Шлезингера он намеревался принять коллекцию прямо на вокзале и разместить ее в небольшой повозке, предоставленной для этой цели университетским руководством. Большая часть книг и наиболее хрупких предметов прибыла упакованная в деревянные ящики, однако значительная часть оружия была без особых затей обложена соломой, так что разгрузка оказалась делом отнюдь не легким.

Тем не менее профессор был настолько озабочен тем, как бы бесценные реликвии не повредились, что решительно отверг услуги носильщиков. Каждый из экспонатов переносился по перрону непосредственно г-ном Шлезингером и передавался им прямо в руки профессору фон Гопштейну, который находился в повозке и занимался погрузкой.

Когда все было уложено, оба ученых, печась о сохранности груза, вернулись в университет. Профессор был в превосходном настроении. Он явно гордился тем, что смог в свои преклонные годы выказать столько умения и сноровки при погрузке всех этих весьма тяжеловесных и громоздких предметов. Он даже отпустил по этому поводу несколько шуточных замечаний Рейнмаулю, университетскому привратнику, который с помощью своего друга Шиффера, еврея из Богемии, разгружал повозку по прибытии ее в университет.

¹ *Инкунабулы* — старинные книги, изданные в первые годы после изобретения книгопечатания.

После того как реликвии были надежно размещены в университетском хранилище, профессор самолично запер дверь, передал ключ от нее своему помощнику, г-ну Шлезингеру, и, попросившись со всеми, отправился домой. Г-н Шлезингер, со своей стороны, еще раз убедившись, что все в полном порядке, также ушел, оставив Рейнмауля с его приятелем Шиффером курить в привратничкой.

В одиннадцать часов вечера, приблизительно через полтора часа после ухода фон Гопштейна, один солдат 14-го стрелкового полка, возвращаясь в казарму и проходя мимо здания университета, натолкнулся на тело профессора, лежавшее чуть поодаль от обочины дороги. Фон Гопштейн лежал ничком, раскинув руки. Голова была разрублена пополам страшным ударом, который, как видно, был нанесен сзади, поскольку на лице старика застыла мирная улыбка; должно быть, смерть настигла его внезапно, когда он был погружен в приятные мысли о своем последнем приобретении. Иных увечий на теле не обнаружено, если не считать отека в области левого колена, вызванного, по всей видимости, ушибом уже после нанесения удара, когда профессор упал. Самое, пожалуй, необъяснимое в этой истории то, что кошелек профессора с сорока тремя флоринами, а также дорогие часы остались нетронутыми. Стало быть, мотивом преступления не могло быть ограбление, если только убийцам не помешали прежде, чем они смогли довершить начатое.

Однако последнее предположение отпадает по той причине, что тело убитого, по-видимому, пролежало в таком положении не менее часа. Все это дело окутано непроницаемой тайной. Д-р Лангенманн, знаменитый врач-криминалист, пришел к выводу, что рана могла быть нанесена тяжелым сабельным штыком, причем нападавший, несомненно, отличается незаурядной силой. Полиция воздерживается от каких-либо комментариев по данному поводу, а это дает основания полагать, что

она уже напала на след. Возможно, в скором времени преступники будут найдены».

Вот и все, что сообщала об этом происшествии «Пештер Абендблатт». Тем не менее поиски полиции не пролили ни малейшего света на обстоятельства убийства. Не удалось найти даже намека на след убийцы, и самые хитроумные уловки не помогли обнаружить ни малейшего повода, который мог бы послужить мотивом к совершению столь ужасного преступления. Покойный профессор был настолько поглощен своими научными изысканиями, что жил как бы отгородясь от мира, и определенно не мог дать повода кому бы то ни было для проявления враждебности. Оставалось только допустить, что удар этот был нанесен каким-то демоном, кровожадным дикарем.

Хотя городские власти были весьма далеки от того, чтобы прийти к какому-либо заключению касательно данного убийства, обыватели в городе, по своей подозрительности, все же не замедлили найти козла отпущения. Как, может быть, помнит читатель, в первых газетных сообщениях фигурировало имя некоего Шиффера; было известно, что он оставался с привратником после ухода профессора. Шиффер был еврей, а к евреям в Венгрии всегда относились прескверно. Общественность стала громко требовать ареста Шиффера, но поскольку против него не было ни малейшей улики, то у властей все же хватило здравого смысла не совершать столь опрометчивого шага.

Притом убеленный сединами Рейнмауль, один из наиболее уважаемых граждан города, клятвенно заверил, что Шиффер был неотлучно с ним, а когда солдат закричал от ужаса, они оба тотчас поспешили к месту трагического события. При таких обстоятельствах никому не приходило в голову обвинять Рейнмауля, но шепотом поговаривали, будто его давняя и всем известная дружба с Шиффером вполне могла заставить его солгать, дабы выгородить приятеля.

Народные страсти начали накаляться, над Шиффером нависла серьезная опасность расправы со стороны разъяренной толпы, когда вдруг произошло событие, заставившее взглянуть на всю эту историю под совершенно иным углом зрения.

Утром 12 декабря, то есть ровно через девять дней после таинственного убийства профессора, на окраине Большой площади Будапешта был найден окоченелый труп Шиффера, еврея из Богемии; тело его было так изувечено, что опознать его составило немало труда. Голова оказалась рассечена пополам почти так же, как и у фон Гопштейна.

При осмотре тела обнаружили множество глубоких ран, как если бы убийца был вне себя и в ярости продолжал наносить своей жертве удары. Накануне выпало много снега, огромная площадь вся оказалась замечена сугробами толщиной более фута. Снег шел и ночью, как явствует из того, что он тонкой пленкой, словно саваном, покрыл тело Шиффера.

Поначалу надеялись, что данное обстоятельство может обнаружить следы, оставленные убийцами, но, к сожалению, убийство произошло в таком месте, где в дневное время бойко и людно. Следов было множество, и вели они во все стороны. Кроме того, снег, выпавший позднее, настолько исказил сами очертания следов, что было уже невозможно извлечь из них сколько-нибудь ценные сведения.

Тайна убийства, таким образом, казалась столь же непостижимой, а злодеяние — лишенным мотивов, как и убийство профессора фон Гопштейна. В одном из карманов Шиффера был найден бумажник, в котором содержалась значительная сумма золотом и множество крупных банкнот, но, по всей видимости, убийцами не было предпринято ни малейшей попытки завладеть ими. Если допустить, как предполагала полиция, будто кто-то, кому убитый одолжил денег, употребил столь варварское средство, чтобы избежать необходимости

вернуть долг, трудно было поверить, что злодей в таком случае оставил нетронутой подобную добычу.

Шиффер жил у вдовы по фамилии Груга на улице Марии-Терезы, 49, и допрос домовладелицы и ее детей позволил установить, что весь предыдущий вечер Шиффер провел, запершись у себя дома, в состоянии самой глубокой подавленности, связанной, по-видимому, с теми слухами, что ходили в городе на его счет. Домовладелица слышала, как к одиннадцати часам вечера он вышел из дому на прогулку, оказавшуюся для него роковой, и поскольку у него был ключ от входной двери, она легла спать, не дожидаясь его возвращения. Если он выбрал себе для прогулки столь поздний час, то, видимо, потому, что не чувствовал себя в безопасности днем, боясь, что его узнают на улице.

Это второе убийство, совершенное вскоре же после первого, вызвало необычайное беспокойство и даже панику не только в Будапеште, но и во всей Венгрии. Казалось, нет такого человека, который мог бы быть уверен, что его минует страшная участь — смерть от неведомой силы. Единственное, что сопоставимо со всеобщим напряжением, царившим тогда в Венгрии, так только настроения у нас в Англии после злодейств, совершенных Вильямсом, как все это описано у де Квинси.

Столь разительно было сходство между убийством фон Гопштейна и убийством Шиффера, что казалось невозможным усомниться в существовании между обоими преступлениями некоей связующей причины. Отсутствие мотива, отсутствие ограбления, полнейшее отсутствие следов и улик, обличающих убийцу, наконец, чудовищность ран, нанесенных, по-видимому, тем же самым или схожим оружием, — все это указывало на общность источника.

Таково было положение дел к тому времени, когда случились события, о которых я расскажу сейчас, но чтобы рассказ этот был более понятным, мне придется начать с другого.

Отто фон Шлегель был младшим отпрыском славного рода силезских Шлегелей. Отец его поначалу прочил ему армейскую карьеру, но, приняв к сведению мнение учителей, восхищенных талантами, кои проявлял юноша, он в конце концов отправил его изучать медицину в Будапештский университет. Молодой Шлегель отличился там во всех науках; многие полагали, что он блестяще сдаст выпускные экзамены, приумножив славу университета. Хотя читал он необычайно много, все же его нельзя было назвать «книжным червем». Напротив, в молодом человеке кипели силы и была через край энергия; молодецкой удали и склонности ко всяческому юношеским проказам ему было не занимать, так что популярность его среди студентов и сотоварищей была необычайная.

Приближались очередные экзамены, и Шлегель упорно готовился, настолько упорно, что даже страшные убийства, повергшие будапештцев в ужас, не смогли отвлечь его от занятий. В рождественский вечер, когда окна домов ярко и празднично светились, а из винного погребка, расположенного в студенческом квартале, доносились разудалые застольные песни, он отказался от настойчивых приглашений и призывов на ночные пирушки и с книгами под мышкой отправился к своему приятелю Леопольду Штраусу, чтобы сообща позаниматься до зари.

Штраус и Шлегель были неразлучными друзьями. Оба уроженцы Силезии, они знали друг друга с детства; их взаимная привязанность вошла в университет в поговорку. Штраус был, пожалуй, столь же замечательным студентом, как и сам Шлегель; между земляками постоянно случались по такому поводу самые горячие состязания, но все это служило только укреплению их дружбы, внося в нее элемент взаимного уважения. Шлегель восхищался неумным упорством и безграничным добродушием своего давнишнего товарища по играм, а тот взирал на Шлегеля, с его щедрыми талантами и блестя-

щей способностью к учебе, как на совершенный образец человеческой личности.

Оба друга усердно занимались — один читал вслух трактат по анатомии, другой с черепом в руке прослеживал по нему детали, указанные в тексте, когда строгий звон с колокольни Святого Григория возвестил полночь.

— Послушай, старина, — сказал Шлегель, внезапно закрыв книгу и вытянув перед камином длинные ноги. — Вот и Рождество. Бог даст, не последнее, какое мы проводим вместе!

— Да, нам бы только управиться с этими проклятыми экзаменами до наступления следующего, — ответил Штраус. — Слушай, Отто, бутылочка винца по такому поводу придется нам очень кстати. Я нарочно запасаюсь такой.

Его добродушная физиономия немца-южанина осветилась задорной улыбкой; из груди книг и костей в углу комнаты он вытянул высокогорлую бутылку рейнского вина.

— Да, сегодня одна из тех ночей, когда так приятно сидеть дома, пока за окном царят холод и мрак, — задумчиво протянул Отто фон Шлегель, созерцая зимний пейзаж. — Твое здоровье, Леопольд!

— *Lebe hoch!*¹ — ответил ему товарищ. — Какое блаженство — хоть на минуту отвлечься от этих дурацких костей. Скажи, Отто, а что нового среди наших? Что слышно о Граубе и его противнике?

— Они дерутся завтра на кулаках, — ответил Шлегель. — Боюсь, как бы нашему удалцу не разукрасили физиономию, ведь у него руки чуть короче. Но при своей ловкости и проворстве он вполне может с честью выйти из этого дела. Говорят, он знает какой-то особый прием.

— И что, это и все студенческие новости? — спросил Штраус.

¹ Будь здоров! (нем.)

— Только и разговоров, по-моему, что о последних убийствах. Но я все эти дни, как ты знаешь, сижу за книгами и почти не обращаю внимания на подобные рассказы.

— Скажи, а ты еще не успел посмотреть книги и оружие, о которых хлопотал наш почтенный профессор незадолго до того, как его нашли мертвым? — спросил Штраус. — Говорят, их весьма стоит посмотреть.

— Как раз сегодня видел, — ответил Шлегель, разжигая трубку. — Рейнмауль, привратник, провел меня в хранилище, и я помогал ему наклеивать этикетки на многочисленные экспонаты, сверяясь с каталогом Музея графа Шуллинга. Судя по всему, в коллекции не хватает одного предмета.

— Не хватает одного предмета? — изумился Штраус. — Знал бы старик Гопштейн, он бы перевернулся в гробу. И что-нибудь существенное?

— По каталогу тот предмет значится как старинный боевой топор; само оружие стальное, а рукоять покрыта серебром. Мы написали извещение в железнодорожную компанию, и его несомненно разыщут.

— Надо надеяться, — согласился Штраус.

После этого разговор перешел на иную тему.

Огонь в камине уже погас, бутылка рейнского опустела, друзья наконец поднялись, и Шлегель собрался уходить.

— Брр... какая холодная ночь, — поежился он, стоя на пороге и облачаясь в пальто. — Как, Леопольд, ты хватаешься за фуражку? Надеюсь, ты не собираешься выходить?

— Нет, как раз собираюсь. Я тебя провожу, — сказал Штраус, затворяя за собой дверь. — Чувствую потребность пройтись, — добавил он, взяв друга под руку и начав спускаться с ним по лестнице. — Думаю, что прогулка до твоего дома поможет мне взбодриться.

Студенты прошли по Штефенштрассе и пересекли площадь Святого Юлиана, беседуя на разные темы. Но когда они огибали угол Большой площади, на которой

было найдено тело Шиффера, разговор, естественно, снова коснулся убийства.

— Вот здесь его нашли, — заметил Шлегель, показывая место.

— Быть может, убийца сейчас где-то поблизости, — сказал Штраус. — Поторопимся.

Они хотели было продолжить путь, как вдруг Шлегель вскрикнул от боли и нагнулся.

— Как больно! Видно, что-то впилося в подошву, — воскликнул он и, шаря рукой в снегу, извлек оттуда маленький боевой топор, который весь сверкал в лунном свете, словно был целиком отлит из металла.

Топор лежал острием кверху и чуть не поранил студенту ногу, когда он наступил на него.

— Оружие убийцы! — изумился он.

— Серебряный топорик из музея! — одновременно воскликнул Штраус.

Друзья нисколько не сомневались, что их догадки в одинаковой степени верны. Мысль о том, будто есть еще один такой же диковинный топор, казалась просто невероятной, а зная заключение криминалистов, студенты сразу предположили, что раны были нанесены именно этим предметом.

Убийца, вне всякого сомнения, просто бросил оружие, свершив свое черное дело; засыпанный снегом топор был найден в двадцати метрах от места убийства. Казалось невероятным, что его никто не заметил, ведь в течение дня тут оченьлюдно; но снег был глубоким, а орудие злодеяния лежало несколько в стороне от протоптанной дорожки.

— Как нам с ним поступить? — спросил Шлегель, держа топор в руке. Он вздрогнул, увидев при свете луны множество темно-бурых пятен на поверхности стали.

— Отнесем его комиссару полиции, — предложил Штраус.

— В это время он уже спит. Но все-таки, я думаю, ты прав. Дождись утра, а там перед завтраком отнесу его комиссару. Пока же придется забрать его домой.

— Да, так, наверно, лучше, — согласился с ним друг.

И они продолжили путь, рассуждая о важности только что сделанной ими находки.

Когда наконец подошли к дому Шлегеля, Штраус пожелал другу спокойной ночи и, отклонив радушное предложение зайти, быстрым шагом двинулся по улице, стремясь поскорее попасть домой.

Шлегель уже было нагнулся, чтобы вставить ключ в замочную скважину, как вдруг какое-то странное, непостижимое изменение произошло во всем его существо. Он весь буквально затрясся от ярости, так что даже ключ выпал из его дрожащих пальцев. Правая рука судорожно сжала серебряную рукоять топора, а в глазах вспыхнуло дикое пламя ненависти, и он устремил взгляд на удаляющуюся фигуру друга. Несмотря на холод рождественской ночи, по лицу Шлегеля градом капился пот. С минуту он как бы боролся с каким-то внутренним порывом. Он даже поднес к воротнику руку, словно бы задыхаясь. Затем Шлегель пригнулся и, крадучись, устремился за своим приятелем, с которым только что расстался.

Штраус ступал по снегу тяжелым и твердым шагом, бодро насвистывая мотив какой-то студенческой песенки и ничего не подозревая о крадущейся сзади зловещей фигуре. На Большой площади их разделяло сорок метров; на площади Святого Юлиана — уже только двадцать; на улице Святого Этьена — всего лишь десять, и преследователь, словно пантера, постепенно наступал беззаботно шедшего студента.

Вот он уже всего лишь на расстоянии вытянутой руки от ничего не подозревающего человека. Топор холодно сверкнул в лунном свете, когда какой-то слабый звук, видимо, привлек внимание Штрауса, он резко обернулся и оказался вдруг лицом к лицу со своим преследователем.

Штраус вздрогнул от неожиданности и издал удивленное восклицание, увидев мертвенное и сведенное су-

дорогой лицо, сверкающие безумным огнем глаза и стиснутые зубы подкрававшегося сзади преследователя.

— Что с тобой, Отто?! — воскликнул он, узнав своего друга. — Тебе плохо? Ты что-то бледен. Пойдем со мной... Стой, сумасшедший, брось этот топор! Брось его, говорю тебе, не то, клянусь Небом, я тебя задушу!

Шлегель, издав страшный крик, бросился на него, потрясая топором, но студент был человеком смелым и решительным. Он уклонился от удара, который бы раскроил ему голову, обхватил нападающего одной рукой за талию, а другой за руку, сжимавшую топор. Какой-то миг они боролись в смертельном объятии. Шлегель пытался высвободить руку, но Штраусу в отчаянном усилии удалось повалить его на землю, и оба покатались по снегу; Штраус старался не выпускать руку, сжимавшую топор, и громко звал на помощь.

И хорошо, что звал, ибо, не кричи он, Шлегелю наверняка удалось бы высвободить руку, но тут на шум подоспели два рослых жандарма. Однако даже втроем им стоило невероятных усилий управиться со Шлегелем, силы которому придавало какое-то яростное безумие; при этом так и не удалось вырвать у него из руки злополучный топор — столь цепко Шлегель сжимал рукоять. У одного из жандармов оказался с собою моток веревки, которою он и поспешил воспользоваться. Студент был связан. Затем то толчками, то волоком, невзирая на яростные крики и иступленные телодвижения, Шлегеля в конце концов препроводили в главный комиссариат полиции.

Штраус помогал тащить своего старого друга и проследовал с ним и полицейскими до самого комиссариата. По дороге он всячески увещевал жандармов не применять насилия к задержанному и уверял, что дом умалишенных более подходящее место для бедолаги, нежели тюрьма. События минувшего получаса были столь чудовищны и невероятны, что он чувствовал, что и у него самого с головой не все ладно.

Что, в самом деле, все это значило? Несомненно, Шлегель — друг детства! — только что пытался его убить и едва не преуспел в этом. Как прикажете это понимать? Уж не он ли убийца профессора фон Гопштейна и богемского еврея?

Штраус понимал, что это невозможно. Шлегель всегда питал к профессору особенную симпатию, а что до еврея, так он даже и в глаза его не видел. Штраус машинально шел за другом и конвоирами до самых дверей комиссариата, охваченный мучительным недоумением.

Дежурил, замещая комиссара, инспектор Баумгартен, один из самых энергичных и уважаемых сотрудников будапештской полиции, человек высокого роста, нервический, подвижный, но в обращении спокойный и выдержанный, одаренный к тому же незаурядной наблюдательностью. Даже после шести часов ночного дежурства Баумгартен, как всегда, был бодр и деловит. Он сидел у себя в кабинете, за своим бюро, в то время как его друг, младший инспектор Винкель, сладко похрапывал на стуле возле камина.

Несмотря на обычную бесстрастность инспектора, на лице его выразилось удивление, когда дверь вдруг широко распахнулась и в комнату втолкнули связанного Шлегеля, бледного, в разорванной одежде и с топором, который он по-прежнему судорожно сжимал в руке. Баумгартен удивился еще более, когда Штраус и жандармы изложили суть дела, каковая должным образом и была внесена им в протокол.

— Эх, молодой человек, молодой человек, — укоризненно сказал Баумгартен, отложив наконец перо в сторону и строго глядя на злоумышленника. — Хороший же подарок вы припасли нам на рождественское утро! Зачем вы это сделали?

— Бог его знает, — ответил Шлегель, закрывая лицо руками. Как только топор выпал у него из руки, в нем снова произошла поразительная перемена: гнев и лихо-

СОДЕРЖАНИЕ

Рука-призрак. <i>Перевод М. Антоновой</i>	5
Топор с посеребрянной рукоятью (<i>Действительное происшествие</i>). <i>Перевод П. Гелевы</i>	21
Странное происшествие в Оксфорде <i>Перевод Н. Высоцкой</i>	42
Необычайный эксперимент в Кайнплатце <i>Перевод Н. Дехтеревой</i>	82
Паразит (<i>Записки зомбированного</i>). <i>Перевод П. Гелевы</i>	102
Джордж Венн и привидение. <i>Перевод В. Полякова</i>	170
Смуглая рука. <i>Перевод Ю. Жуковой</i>	193
Привидение из Лоуфорд-Холла. (<i>Правдивая история</i>) <i>Перевод П. Гелевы</i>	212
Лакированная шкатулка. <i>Перевод В. Воронина</i>	227
Тайна замка Свэйлклифф. <i>Перевод В. Полякова</i>	243
Кожаная воронка. <i>Перевод В. Воронина</i>	285
Зеркало в серебряной оправе. <i>Перевод С. Леднева</i>	301
Злополучный выстрел. <i>Перевод И. Мигольцева</i>	314
Почему в новых домах водятся привидения <i>Перевод П. Гелевы</i>	363
Джон Баррингтон Каулз. <i>Перевод О. Варшавер</i>	379
Привидения в замке Горсторп-Грэйндж <i>Перевод В. Полякова</i>	405
Капитан «Полярной Звезды» (<i>Отрывок из дневника Джона Мак-Алистера Рея, студента-медика</i>) <i>Перевод Е. Туевой</i>	427
Великая жрица тугов. <i>Перевод П. Гелевы</i>	458
Тайна задернутого портрета. <i>Перевод П. Гелевы</i>	506
Игра с огнем. <i>Перевод Ю. Жуковой</i>	520
Вот как это случилось. <i>Перевод П. Гелевы</i>	538